

# Игорь Шестков "Все обо мне и немного о погоде"

## ВСЕ ОБО МНЕ И НЕМНОГО О ПОГОДЕ

В моем мире – тихо. На концерты я уже много лет не хожу, нет желания чужую карму ложками хлебать. Композиторскую, исполнительскую... Когда-то очень любил сумрачную музыку – Софроницкий играет Скрябина в его музее...

Потому что сентиментален, к глотке подступают спазмы, из глаз сыпется песок.

В голове начинают потом звучать услышанные ноты, и нет от них спасения...

Воспоминания лезут в душу, как мертвецы на палубу заблудившегося в

Бермудском треугольнике судна...

Проза – белый квадрат, внутри него, о боги, тишина. Только хруст челюстей буковок и слышен. И их притоптывание. Дотошные, едкие насекомые. Проедают ткань судьбы. Но смирные – со странички никуда. Только гладь их глазами, слушай их переключку и строй себе свои карточные домики.

...

Кто я? Как и все – биологическая машина с набором простых программ для получения удовольствия.

Редко думаю, не философствую (тоска берет), живу себе.... Наслаждаюсь водой, воздухом, тишиной, едой и любовью.

Мой внутренний зверь настороженно слушает пространство. Внешнее и внутреннее.

Фиксирует ритмичный разговор сердца с смертью... Сколько ударов осталось?

Я с удовольствием смотрю. Смотрю на деревья, на картины любимых художников.

Еще больше радости доставляют мне облака и небо.

Стараюсь не нарушать тишину разговорами. Блаженное ничегонеделание – бессмысленными делами...

Хожу гулять с моей доброй подругой. Если я не говорю, она молчит.

Мы идем вдоль узкой речки, тополя шумят, над двадцатиметровой кирпичной трубой вьется легкий фиолетовый дымок, вороны каркают бешено, воробьишки чирикают, серо-белые облака летят над головой.

Стараюсь не давить огненно красных жуков на асфальте. Они выползают почему-то все время на середину пешеходной дорожки. Парами, сцепившись задами. Любовь делает их безумными.

Над речкой носятся темно-синие стрекозы. Мы замираем и заворуженно смотрим на стрекоз, пока они не скрываются за кустами с нежными белыми цветами. Что это за цветы, спрашиваю я мою подругу. Она отвечает: Спиреи... Вы думаете, что я такой активный, строчащий на компьютере бесконечные тексты автор...

Таким я и не был никогда. Даже когда в семнадцать лет писал шариковой ручкой в толстой тетради в клеточку свой первый роман про неудавшееся самоубийство подростка, приуроченное к первому мая.

Живу бедно и тихо, у меня нет ни планов, ни проектов, я не ставлю перед собой никаких задач, не думаю о сроках, ни о ком не забочусь, разве что сумку нести Уте помогаю.

Один раз в неделю посещаю дочку и внучку. Ни с кем не переписываюсь. Погряз в блаженной мизантропии. Ем яблоки. Наслаждаюсь нежностью бытия, пока не сдавит сердце или колено не заболит.

Вы рассуждаете о духовном слое, о бесконечных мистических пространствах и мистериях...

А мне надоели мистические пространства, не нужны мне больше и мистерии.

Я никуда не стремлюсь, я застрял в каменном гробе реальности.

Метафизика, эта измученная профанами кошка, согнула свой многоцветный хвост. Мяукает, норовит щеки оцарапать. Я говорю ей – тссс...

И принимаюсь за розовые креветки, сваренные Утой в соли Мертвого моря и обрызганные лимонным соком...

...

Не забывайте, что Вы пишете автору, который ВСЕ собирает – и драгоценности и мусор – и лепит из этого колкого материала своих героев. Вроде скульптора стиля модерн, сваривавшего различные железяки...

Я пишу рассказ не о Вас, а обо мне самом, думающем о Вас...

Напряжение будет возрастать и падать. Текст будет мягко пульсировать.

Перед самым концом эта маленькая вселенная взорвется как огненный шар...

Слова и буквы разлетятся во все стороны.

Останется – пустое пространство...

Гром. Звон. Гул.

Так гудит рояль после завершающих аккордов.

Так гудит и текст. Всеми своими пробелами.

Раковина.

...

Моя жизнь – отчаянье, оно сгустилось как туман из старого фильма, в котором приходят мертвые прокаженные мстить мне, еще живому.

Хотя я никого никогда и пальцем не тронул, пишу я только о тех, которых «убил». Мои рассказы – рассказы палача, молящего свои жертвы о прощении, о забвении. Я отдаю им долг. Когда расплачусь – замолкну навсегда.

...

В начале восьмидесятых я впервые участвовал в выставке «нонконформистов» в Горкоме графиков на Малой Грузинской улице. Остался на сабантуй после открытия.

В сабантуе участвовали люди вроде Н. (со свитой), Я. (тоже со свитой), а также В., Д., К. и другие. Ну и их подруги боевые...

Расселись все в каком-то широком подвальном коридоре на досках и ящиках, начали жадно пить водку и курить. Затрясли бородами, засверкали лысинами...

Вдоль стен штабелями стояли картины. Московский запах – табачный дым, перегар, пот, асфальт, выхлопы, отбросы – смешивался с тошнотворным запахом рыбьего клея...

Глаза у художников и их бойцовых подруг налились нездоровым соком, как ядовитые сливы в балладе Пушкина. Начались выяснения отношений между художественными альфа-самцами. Некоторые рычали как псы, казалось, готовы были укусить... Другие ерничали, братались... Их развязные сучки в болгарских дубленках не отставали от «властителей дум» – наскикивали друг на друга, как курицы, впивались друг в друга долгими мрачными взглядами, иногда

целовались взасос...

Люди не разговаривали, а развешивали свои словеса на сизых простынях табачного дыма или

бросались репликами, как будто плевались...

Сипели, хрипели, кашляли...

– Ну ты, ета, взял тон! Ета...

– Блин! Баальшая такая картина, бааальшая... И тижолая... Холст провис, такая тижолая... Со зверями. Желтые коровы и саблезубые тигры, да... Как у Марка, бя буду... И Христос распятый над ними...

– Клёво! Манда-концептуалка! Не пропустит вохра-блядь!

– Концептуалка твоя – сопли синие! Вот я в Ельце видел картину. Мужик ебет гиппопотама!

– Сам ты гиппопотам, Друзя! Не люблю я тебя... Сделай милость, подохни поскорее!

– Не дожدهшься, мазила... Застрелись дробью, чувак...

– Как же я тебя не люблю, лианозыч! Сдохни, пожалуйста, я некролог напишу для «Правды»... Дворницкая твоя душа...Хрр, хрр...

– А ета, его новая вещага с иконами и крестами... Светы-пересветы на пресвятой... Вот же залупил, сука... По самое не могу запялил. Ета... Русь...

– Да, ништяг, картина. Трубка Сталина и котики. Клевый тон... Чувак лессира положил грамотно... Колёры, плавочка... Краплаки на мраморе...

– Как я тебя не люблю! Космический ты мой... Ну подохни, прошу...

На Малогрузинке выставялся еще раз восемь. Тешил тщеславие. Но с художественной стаей больше не общался – не мог победить отвращение, слишком сильно и от них самих и от их картин и разговоров несло блевотиной... Знатоки и умельцы говорили мне – если хочешь чего добиться, побегай за водкой для Немухи или Дробилы годок-другой. Тогда тебя и в стаю примут, и в каталог вставят, и продаться помогут... Никого не трогает, ни КАК ты рисуешь, ни ЧТО. Для них одно важно – не допустить чужака к деньгам, к иностранцам, к сучкам...

...

Слушал сегодня Ноктюрн Шопена (опус 9 В) в исполнении пианиста А..

Начинается вкрадчиво, меланхолично, потом раскидывается веером и начинает укорять... Укорять и поить публику молоком мелодизма, а затем, после нескольких перистых сердечных терзаний, этим же веером слушателя по башке. С треском – хрясь! Проснись и живи, мертвяк!

А. – осторожный фехтовальщик, изящно прокалывает слушателю грудную клетку.

Музыка находит волнами, и мелодия, вдосталь постучав по сердцам нежным мелодическим молоточком, замолкает. И возникает вновь... Сладкие слезы источает рояль-супермаркет.

Мотив повторяется, повторяется... как будто из жалости.... А. медленно вытягивает звуки из вечности. Голубоватые звезды мерцают... Выглядывает Луна...

В лунном свете показывается козак-полотер из фильма «Чапаев». По сцене пробегает козлоногий Бетховен в парике, вытарачивает глаза, прислушивается глухим ухом, хватает со столика стакан молока, быстро пьет и убегает...

Дьявол-пианист скалит зубы и бросает на стол хрустящие белоснежные кости...

...

Люблю фильмы Федерико Феллини. Моя бедная удмуртка Уля видит во сне лупанар из «Сатирикона», незабываемое волшебное пространство, как будто внутри многоэтажного зиккурата. В каждой комнате соблазны – голая женщина или ребенок. Языком – тремоло.

Наверху – черная дыра, выход в пустоту вселенной. Из человеческого потного рая...

Люблю музыку из «Казановы»...

Пряные ароматы ночи, тихие разговоры умерших, нежные всхлипы прошедшего.

Плитка времени ломается с легким хлопком.

Слаще шоколада...

...

Странно, почему мы не воем в сумерки? Ведь уже в двадцать лет видны жесткие лошадиные космы гойевского Сатурна, пожирающего нас, в тридцать пять – до наших носов доносится смрад из его пасти, а в пятьдесят пять, немногие, еще не сожранные им – ощущают чешуйчатость его кожи, ощущают настойчивое

копошение червей в его отвратительных порах...

Казалось бы – вся мудрость человека, весь его талант и энергия должны уходить на борьбу с этим единственным настоящим врагом – временем, пожирающим нас заживо, но нет, мы знать ничего не хотим и пляшем, пляшем как безумные свой тотентанц...

Выжимаем до последней капельки дохлую кошку...

С удивительным равнодушием заколачиваем умерших родных в ящик и отправляем в крематорий. Смиренно ожидающий и наши божественные чресла. Нет вечного искусства, нет и не будет вечных людей. Как бы ни было хорошо искусство Шопена – и оно устарело. И должно умереть. Если его слишком долго реанимировать – оно начнет смердеть. Уже смердит.

Потому что главный закон жизни – приход и уход, сменяемость. Земля не должна превращаться в музей, в долгоиграющую пластинку или в палату для коматозных пациентов...

Экспонаты музеев не надо реставрировать вечно – надо дать картинам умереть, они заслужили это. Тогда у людей появится желание писать новые картины.

Я видел достаточно картин, которые хорошо отреставрированы, но от оригинала ничего не осталось. И на месте чудесной органической плавки – кричит красками добротный, мертвый новодел.

Старый Бах поморщился бы, если бы услышал свои фуги, исполненные на рояле, а не на клавесине. Слишком много звуков-овощей. Мы все превращаем в сверкающие вкусные овощи.

Жизнь без Баха была бы для многих из нас – жизнью без Бога. Без надежды.

Старый Бог умер. Пока Бах не похоронен, а бродит по земле, новый Бог не появится... незачем.

Добротолюбие, религиозная философия... Это – мехи ветхие. Их молодое вино рвет и проливается на землю.

Бери удар на себя. Не бойся говорить правду. Мистика конца, философия бессмысленности и неопределенности, торжество смерти – интереснее и убедительнее религиозного опиума.

Когда ты переходишь к «общим оправданиям жизни и творчества», к «надеждам и упованиям», то начинаешь лукавить, вытягивать как жулик из рукава – туза

Флоренского, туза Саровского, Евангелие...

А шестерка (обычная жизнь) бьет туза.

...

Разглагольствования, рассуждения, мнения и прочее – все это имеет для меня смысл, только если разглагольствует литературный герой... Сам я молчу. Все, что пишу – это представление. Мой домашний плейбек-театр одного актера.

Я не знаю, что я думаю о том или об этом. Мое мнение – мне вовсе не интересно. Мне неохота его развивать, проверять... Как только я слышу какое-либо высказывание, которое проговаривает мой внутренний голос, я начинаю искать соответствующего героя и подходящую ситуацию, в которой герой может высказать или подумать что-либо подобное.

Мое собственное мышление начинается и завершается в чертовом гипоталамусе, а весь мир действует и раздражает исключительно мою вегетативную нервную систему.

Все мои герои – суть эти раздражения. Генезис этот, естественно, оставляет на них своеобразный отпечаток – чертового копыта...

На мои робкие попытки поиграть с тобой в эту игру – загнать тебя в героя моей прозы, ты отвечаешь ударами дубины и плевками желчи. Твоя желчь прожигает на моей тонкой шкуре дыры, а дубина оставляет синяки.

В Рим, к блядам, вину и сладким кренделям?

Блядей, друг, и в Берлине достаточно. Высоченные как телебашня...

Винище пить не могу – отдам концы на Аппиевой дороге. Кренделя ел бы каждый день, но и так толстый как боров, впору под Луной летать.

А Гутузо твой – художник говённый.

У меня из-за него случился конфуз. В Пушкинском висит его картина. Или висела. Называется – «Воскресение римского рабочего». И противный на ней такой рабочий изображен – цветастый и на крокодила похож. Курит, гад. И проигрыватель слушает. А я студентом водил экскурсии по Пушкинскому. Неофициально, для знакомых. Веду я людей, Рембрандт, Мунк, Сезанн... И вдруг этот рабочий херов показался. Почему-то я решил, что рабочий этот, вроде как Иисус – воскрес. И нарисовано его «воскресение». Теорию развил. Смотрели на меня люди, как на сумасшедшего. А я плел и плел... Только дома, вечером, до

меня вдруг дошло, что в названии картины – всего лишь день недели...

Вино, бляди и кренделя? Заманчиво, конечно.

Помнишь, в «Сладкой жизни» приезжает к Матрояни отец из провинции.

Симпатичный старикан, в костюме, с воспоминаниями. Казенный такой человек.

Состарившийся. А сын хочет отца развлечь, коктейлями его поит и с девушками знакомит. Отец хорохорится, раззадоривается, танцует...

И вдруг становится этому неуместному отцу плохо. Всерьез.

И всем почему-то безумно неловко – и актерам и зрителям.

Вот так будет и со мной, если ты меня из под коряги вытащишь, да в Риме по блядам с кренделями потащишь. Я конечно заведусть... А потом сердце схватит.

И ты будешь думать – на кой черт я этого мудака из его норы вытащил, возись с ним теперь... И всем будет неловко...

Не плачь! Ничто не уходит. Твой римский 1979-й никуда не ушел, ты все еще там, в объятиях божественной Ивы. И останешься там навсегда. Выковырять из времени, застрявшего в нем человека, не может даже смерть.

Все наши мгновения – остановленное время, кристаллы вечности. Фауст ни черта в жизни не понимал...

В каждой нашей секундочке – и только в ней – мы бессмертны. Мы боги.

Иного бессмертия нет и не надо. Иное бессмертие было бы дурной бесконечностью.

Ты ведь наверняка еще в юности играл в мою любимую детскую игру – в Бога. И знаешь, что вселенную нельзя улучшить. Каждое, кажущееся таким желанным, изменение привело бы к фатальному ухудшению творения.

Даже человека, эту дрожащую тварь, эту бескрылую курочку, полную всяческих подлостей – улучшить невозможно. Потеряется жизнь.

...

Рихтер играет чисто, сдержанно, понимая, что его музыка вызовет бурю эмоций у слушателя, Рихтер оставляет в душе слушателя для этой бури место.

Рихтеровы звуки, узкие как графические линии, напомнили мне немецкую и голландскую зимнюю графику, со снегом, с замерзшей рекой, птицами-галочками, с замершими в нелепых позах детьми, с деревьями, с их четко прорисованными веточками, покрытыми иногда цинковым снегом...

Рихтер играет Генделя... его игра интровертна, ледяной мастер как бы впитывает, вбирает в себя звуки, он как бы высасывает Генделя. И поглядывает на слушателя украдкой... так, как будто хочет высосать и его.

Посмотрел фильм Монсенжона. Жалко Рихтера до слез.

Он дрожит и стонет, просит оставить его в покое. А его всё спрашивают, спрашивают. Рихтер там как гоголевский колдун перед неминуемым наказанием. Презирает мир и публику, ненавидит себя. Музыка ему опротивела... И он швыряет ее в грязную канаву. И сам тихо уползает в смерть...

...

Есть ли у меня машина?

Был у меня велосипед «Диамант», когда я жил в Саксонии, в городе К.. Гонял я на нем по горам, по долам, пока однажды меня сзади машина не ударила. Среди бела дня. В сентябрьскую жару. Я взлетел и упал, треснулся башкой об асфальт... Машина умчалась в бескрайние дали, а я без сознания валялся.

Очнулся – на середине дороги. Морда, рука и бок в крови...

Солнце слепило так, как будто оно приблизилось к Земле и встало у меня перед глазами... Побрел домой. Ни одна сука не помогла. Вызвал такси и в больницу поехал. С тех пор я и на велосипеде не езжу. Только на общественном транспорте катаюсь.

...

Во времена студенчества распускал я язык на семинарах. Задавал неправильные вопросы. Стукача одного чуть не утопил в Черном море. Гэбисты меня заметили, вызвали и пригрозили, что из МГУ выгонят, а на следующий день придут с милицией и забреют в армию, отправят солдатом на урановый рудник. Я представил себе все это и пасть заткнул... И открыл хлебоприемник только во времена перестройки...

Когда-то видел я страшную картинку в журнальчике – идет человек и катит на тачке, впереди себя, собственную опухоль... Размерами превышающую своего хозяина. Жуткий, пульсирующий, коричнево-синюшный, морщинистый кожаный мешок с болезненными внутренностями. Комментарий гласил, что удалить эту опухоль нельзя, потому что тогда, вместе с ней, погибнет и ее носитель. Так что вынужден был этот несчастный свою собственную опухоль на

тачке катать. Лечь или встать он сам не мог. Ему помогли четыре человека, опухоль была крайне чувствительна и болезненна. Жил он с ней уже более двадцати лет. Кошмар...

Я долго думал, гадал – в чем кардинальное отличие совка или бывшего совка, от западного человека. И понял – совок и есть тот больной с гигантской опухолью. Эта страшная опухоль – Россия.

И каждый совок таскает ее всю жизнь, пока не сдохнет. Мучается от неудобства, коченеет от страха, мычит от терзающих его болей...

Западный человек – просто человек, без опухоли, без тачки... человек.

Совок – не человек, а раб своей страшной, часто вовсе для посторонних глаз невидимой, ноши, раб своего собственного, дико разросшегося прогнившего тела, непрерывный обонятель вони – вони своей гниющей Родины, он сам ее плоть и кровь, ее гной...

...

Отдыхали мы гопкомпанией – человек в восемь, несколько комнаток снимали на диком побережье. В начале сентября. Бархатный сезон...

Мой друг Алеша, по прозвищу Дуремар, любитель и знаток музыки и живописи, вернулся только что из Англии. Рассказывал за завтраком торжественно:

«Оскотинились они там. Влюблены все в этого урода – Фрэнсиса Бэкона. С жиру одурели. Разговаривают за столом – только о жратве, выпивке и деньгах.

Здоровые все, благополучные и богатые. Нет в них ни любви, ни боли, вообще ничего духовного, все только на уровне пищеварения... Какое-то мутное сытое прозябание. И искусство такое же, животное, и музыка – дегенеративная какая-то гадость пресыщенная, бездушная...»

Я тогда его предупредил: «Любезный Дуремар, говори о чем угодно, только, не о боли. Ты знаешь, я не верю в Бога, но уверен, что каждое наше слово, словечко, восклицание, каждую нашу мысль – слушают большие мохнатые уши дьявола. И он наверняка очень радуется, когда натывается на этот стандартный набор русского юродивого – боль, духовность, соборность, жертвенность... Моли своего Бога, чтобы пронесло...»

Посмеялись. Поболтали о Фрэнсисе Бэконе. Пошли купаться...

А вечером – у Алеши пошел почечный камень. Без всяких причин.

Ночью он уже не мог терпеть, бредил и громко стонал, к утру – только кричал... С огромным трудом уговорили мы какого-то аборигена за десять рублей отвезти его в больницу. Оклемався Дуремар довольно быстро и уже вечером следующего дня вещал за ужином: «Вы все равно не поверите, но после нашего разговора, перед сном, услышал я вдруг жуткое шуршание... Представилось мне, что вся комнатка наша, все ее немногие кубические метры заполнены до потолка огромными волосатыми ушами... И все кто-то ими гадко так поводил... А потом разглядел я в темноте красные глаза Сатаны. И двинулся во мне камень – и всего болью проняло, вначале слабой, вроде как беленькой, а потом – яростной бордовой волной прошило... Как пулеметной очередью... Закусил Сатана своим кривым зубом мне бок и не отпускал... Все, никакой духовности, боли и метафизики. Хочу жить в Лондоне, есть по утрам бананы и говорить только о жратве и деньгах...»

Алеша Дуремар лет до шестнадцати играл на скрипке, потом ему сломали руку хулиганы на Чистых прудах, где он жил со своим стареньким папой. Играть Алеша больше не мог. Но любовь к музыке сохранял всю жизнь. Собрал огромную коллекцию пластинок. Больше всего любил музыку Густава Малера и Генри Пёрселла, из исполнителей – Альфреда Деллера, Элизабет Шварцкопф и Дитриха Фишера-Дискау...

Я часто приходил к нему в гости. Он кормил меня жареными баклажанами «под грибы» со сметаной и гречкой. Ставил пластинку какого-нибудь хриплого итальянца вроде Тото Кутуньо, мы пили кофе и болтали обо всем на свете. Так проходили мои лучшие московские вечера. Не с девушками в постели, и не в домашнем логове, а в небольшой квартирке у Ногатинского затона, в которую Алешу выселили из центра.

Был Алеша гомосексуалистом, а я, дурак, этого не знал, даже и не догадывался. Дуремар безумно любил Италию. Выучил итальянский. В конце перестройки основал какую-то фирму, возил в Рим и Венецию директоров советских заводов, чему-то их там учили...

Разбогател в начале девяностых. Сошелся с римскими гомиками.

Дуремар почувствовал себя плохо впервые на пляже на Мадагаскаре. Приехал домой – отошло. Затем опять началось. Рак легких. И не курил никогда.

Оперировали его в Москве. Раскрыли, посмотрели и зашили. Он задыхался, страдал.

Умер он, милый, в Италии, в больнице. Не дожил и до сорока лет.

Побоялся я тогда приехать в Москву, проститься. Струсил.

И КГБ я боялся и еще больше боялся увидеть лицо умирающего друга...

Никогда себе этого не прощу.

...

В Москве у нас была кооперативная трехкомнатная квартира. Библиотека приличная, иконы, картины... После того, как мы уехали, в квартире остались жить «друзья». Библиотеку разворовали, мои иконы и картины – пропали, а квартиру нашу продали за смехотворные деньги.

С тех пор я отношусь с иронией к вещам и деньгам.

А когда понял, что мои рисование, которым я страстно занимался почти тридцать лет, никому не нужно – стал с иронией относиться и к самоотдаче, дарению себя, единственному, ради чего стоит жить...

Я дарю себя миру – а мир фыркает в ответ как обиженный пес, делает кучку и забрасывает меня экскрементами. Все правильно. Не сваливай свою ношу на других. Тащи сам, пока не сдохнешь.

Мои тексты – вовсе не подарок читателю, а щелчки по носу.

...

История эта произошла в студенческом лагере «Зеленая гора». В семидесятых годах прошлого века. Действующие лица – Гришка-очкарик, моя нежная подруга Эля и я.

Присутствует и хор, состоящий из студентов и преподавателей, но непосредственного участия в действии не принимает. Только мычит и тяжело стонет, как старый прокаженный еврей в образцовом лепрозории имени Кирова на Кольском полуострове...

Оговорюсь сразу, море в этой истории – не одухотворено, хотя оно и является главным злодеем. Что с него взять? Просто море, довольно грязное. Соленое как вспотевшая задница советской теннисистки...

Устроили лагерные начальники соревнования по настольному теннису.

Я играл прилично, учился в свое время у знаменитого однорукого игрока Димы

Калинина, грозы пинг-понговых турниров в Парке культуры в конце шестидесятых. Умел закрутить подачку-неберучку, короткую, над самой сеткой, ошарашить противника горбатым топ-спином из-под стола или элегантной подрезкой...

Летит, летит китайский шарик, как будто выточенный из легчайшей слоновой кости, летит на бреющем полете, а в самом конце, на предательской белой полосе, касается слегка шероховатой поверхности и падает камнем вниз.

Противник, приготовившийся гасить, в ярости лупит ракеткой по столу...

В финале встретился я с Гришкой-очкариком. Подоспевшим с другой стороны турнира.

И вот, играем мы наши десять партий, а весь лагерь смотрит. 400 внимательных глаз и 200 сопящих студенческих рыл. Но и меня и Гришку тревожат и занимают только одни глаза, одно милое рыльце.

В Элю я влюблен параллельной, второй влюбленностью. Моя первая любовь – черноволосая красавица Марина, отдыхает в это время в другом студенческом лагере – в Абхазии и проворачивает там небольшой, уютный романчик с аспирантом-филфаковцем. Целуется и обнимается с ним на пляже после отбоя. Я их ласки чувствую и за триста километров. И бешусь. И исключительно, чтобы не сойти с ума – ухаживаю за Элей.

Какая декадентская хрупкость! Плечики узкие. Как будто из японской бумаги вырезаны. Блондиночка. Губы мягкие-мягкие, как пластилин, плавятся, когда я их целую, а длинный жадный язык – как пятнистый питон, жмет мои железы мертвой хваткой...

Гришка тоже влюблен в Элю. Каждый раз, когда подает, кидает в ее сторону вопросительно-нежный взгляд. Через свои пижонские узкие очки. Как персик ей бросает... А она, вроде, этот персик ловит, надкусывает, целует и с благодарностью ему обратно запускает...

Закадрил очкарик мою девочку вчера на танцах, когда я с дружкой моим умным, Роником, о смысле жизни беседовал...

Гасит Гришка хорошо с моих подрезок. Змееныш. Резкая, сухая кисть у гада.

Хорошо разработал в общаге на суходрочке...

Чувствую, дело идет в засып. Продуваю.

И тут... начал я Гришку проклинать. Честерить-материть.

А когда он последнюю подачку подал, я в ответ закурил, а он мне в самый угол влепил, как мушкетёр шпагой, а я не только не взял, но растянулся, шорты порвал и ветры громко пустил – тогда я его к смерти и приговорил.

Странный, как будто и не мой, холодный, будничный голос прошептал в моем кудрявом еще тогда резонаторе: Ты, гадина очкастая, утонешь сегодня ночью, утонешь, утонешь...

Я встал, поправил штаны, по-иудиному пожал победителю руку, небрежно поцеловал Элю в щеку и помахал болельщикам. После этого ушел спать в нашу комнату...

Меня разбудили под утро. Привели на пляж. Показали труп и сломанные очки. Я помогал тащить Гришку в лагерь. Истерические крики ломающей в отчаяньи хрупкие пальцы Эли, я почему-то не слышал. Наверное, уши заложило.

...

Если бы этот текст прочитал знаток моего творчества...

ПОКА, впрочем, таковых знатоков не имеется в наличии, что не так уж и плохо по различным причинам. Так вот, вышеупомянутый знаток скептически посмотрел бы на меня и сказал бы следующее...

Интересно, почему читатели обычно смотрят на автора скептически? Или даже сардонически. Как царь Сарданапал глядел на своих наложниц, рабов, коней и на свои несметные сокровища. После того, как приказал зажечь дворец.

Итак, знаток сообщил бы мне, что в одном из моих рассказов схожий с «Гришкой» герой, тоже кстати очкарик, тонет в Черном море в схожих обстоятельствах, и что не гоже писателю так нагло испытывать терпение читающей публики и безбожно повторяться...

В ответ я бы потупился, тяжело вздохнул и погрузился бы в длительное молчание... А потом ответил бы... Почему писатели часто тяжело вздыхают, потупляются и погружаются в молчание? Что так угнетает нас, несчастных служителей Эрато и Эвтерпы?

– Видите ли, майн либер Херр, Вы правы, в рассказе «Псоу» герой, соперник автора, тоже тонет. И действительно при схожих обстоятельствах. Все правильно. И ваш сарданапальский тон вполне уместен. Но.. Рассказ «Псоу» –

выдумка, лирическая фантазия на тему детства золотого студенческого... Кстати, а Вы знаете, почему в слове «студенческий» нет мягкого знака, хотя все студенты любят студень? Так вот, повторяю, «Псоу» – фантазия, а вышеприведенная история – чистая правда. Что, срезались? Так что не советую Вам играть со мной в пинг-понг!

...

История эта долго не давала мне покоя. Совесть меня грызла. Неужели я виноват в смерти человека?

Поэтому я рассказал ее при okazji одному известному московскому мистик и алхимику, тайно разводившему золотых карасей в собственноручно вырытой на дачном подмосковном участке яме. Алхимик замаскировал яму густыми кустами малины – чтобы соседи не увидели и не донесли. Карасей он жарил в маленькой сковородке на краденном подсолнечном масле, которое ему поставлял сосед, Колька Пивоваров, работавший тогда поваром в огромной столовой какого-то секретного завода под Кубинкой...

Так вот, мистик этот карасевый выслушал меня внимательно и сказал:

«Приговорил к смерти... Ты? Чепуха. Ты просто почувствовал его судьбу. И озвучил ее как смог. В тех обстоятельствах... Ревность, горечь поражения... Так что, не переживай, пойдём, карасиков моих попробуешь. С кардамоном и перчиком... Малыши, а по вкусу не уступают зеркальным карпам!»

...

Знаешь, что народ говорит о воробьях? Как объясняет то, что воробышек ходить не может, а только двумя ножками вместе прыгает-прыгает? Ему черт связал ноги. Или Господь, в христианской традиции, что, впрочем, одно и то же. Якобы за то, что чириканием своим выдал свистун-предатель место, где Христос от палачей прятался, а потом и гвоздики таскал, те, которые в руки-ножки, и в пах распятого клевал.. Чирикал бешено, пока Спаситель не умер, подавал всему торжествующему аду знак, что и дальше мучить можно.

Чем-то мне всегда и сам Прокофьев и его музыка этого чирикающего воробья напоминают.

И ритмическое устройство его музыки, очевидно птичье или даже насекомое, напоминает быстро скачущего на своих тоненьких ножках, как на двух

ходульках, соединенных палочками, воробышку. У Прокофьева музыка не льется, а скачет.

Не знаю, какую роль играл он у усатого – что-то слишком много сталинских премий ему надавали, да и за восьмую тоже наградили... И чирикал Прокофий ровно столько, сколько мучительство продолжалось – в один день с дьяволом дух испустил.

Жену-испанку в лагерь отправили. А он в сторону метнулся, на дороге не встал. И из людей его выкинуло, стал чирикающим свистуном-воробьем...

Что-то в лице Прокофьева – то ли лисье, то ли путинское даже, и чирикает... На двух ножках по клавиатуре прыгает, носик о клавиши чистит.

Сквозь его сюр – советские артефакты проскальзывают. Разглядел я старомодные выутюженные брюки с отворотами, даму в шляпке, нелепый вычурный романчик...

А потом тревога...

От своих тощих теней бегут тощуны...

Корчатся в конвульсиях несчастные звуки...

Чириканье, клекот, свист – лютует птичья дьявольская рать...

...

31 января прошлого года я умер. Грудь сперло, дыхание прервалось. Страх, потом – холод и тьма небытия. Продолжалось полминуты. Затем какая-то сила меня из тьмы вытащила. Скорая, больница только навредили.

Теперь я ценю немного оставшееся время.

Люблю каждую травинку на ржавых берлинских газонах.

Гулял сегодня через шесть мостов – в глубоком восточном Берлине, в стране Дебилии...

Сколько форм, сколько разнообразных существований.

Симфония, бескрайние поля елисейские, сказочные ландшафты...

Ута приготовила сырники с изюмом – ты бы и есть не стал, а для меня это лучшие деликатесы, потому что добрые старые руки Уты сырники лепили...

...

История о двух передних забах...

Или о том, как надо разговаривать с путинскими дипломатами.

Учился я в начальных классах в английской школе номер четыре за универмагом Москва.

В этой мерзкой школе учились дети начальства, из соседних цеховских домов и из некоторых близлежащих громадных домов на Ленинском проспекте, от Октябрьской площади до ресторана «Кристалл».

Вот как раз там, на Ленинском, в доме напротив магазина «Лейпциг» жил один ученик нашего класса, некто Венеров, сынок дипломатов.

А я был тогда влюблен в индианку Притьку, смуглокожую дочку индийских торговых представителей в Москве. Втюрился глубоко, до дрожи. На мою беду звали этого Венерова, отличника и зубрилу, тоже Игорь.

И вот, однажды, на каком-то уроке написал я своей девятилетней любимой записку – мы все тогда записки писали друг другу: «Напиши, сколько букв в имени того, кого ты любишь...»

Она мне возьми и ответь – букв пять, первая «и», последняя – «ь».

Я конечно обрадовался, мне и в голову не могло прийти, что она другого Игоря, отличника с примерным поведением и заячьими зубами, дисциплинированного и высокомерного Венерова любит. Потому что я, хоть отличником и не был – первенствовал по математике и, чем особенно гордился, слыл самым сильным в классе. Из-за плавания. Погнали меня в спортивную школу в начале второго класса, из-за искривления позвоночника. Боялись, горбатым стану. Так я и пахал все детство, неизвестно зачем. Каждый день после школы – тренировка, плавание до посинения. Тренеры – грубые туповатые дяди. Помнится, один из них часто пенял мне за то, что я не расту. Заставлял глотать пилюли для роста. Хватало у меня тогда детского ума пилюли выплевывать... Товарищи мои, которые пилюли глотали, и росли хорошо, и результатов добивались, и мускульную массу имели как баобабы, все уже давно в могиле...

К третьему классу сколиоз мой прошел, позвоночник выпрямился. У меня раздались плечи и фигура стала как у Антея. Много лет спустя говорил мне мой отчим – ты тогда выглядел, как силач Бамбула.

Я гордился шириной плеч и математикой. В случае конфликтов с одноклассниками, применял в качестве метода убеждения – стальной зажим, а одноклассницам гордо демонстрировал широкие плечи. Не мог я себе даже

представить, что избранник моей черноокой индианки – вовсе и не я, Антей-Бамбула, а узкоплечий очкарик, сублильный, с нервными руками и выпирающими худыми челюстями Венеров.

Несколько недель я был в эйфории, дурил и важничал...

Затем до меня медленно, как до жирафа, начало доходить, что что-то тут не так. Любимая моя на меня не смотрела, глазками оленьими в меня не стреляла, зато с Венеровым несколько раз на перемене гуляла. И явно к нему подлизывалась, а он запрокидывал противно голову, от чего-то очень по-взрослому отказывался... И домой он ее провожал, но ранец ее не носил...

И вдруг – страшная догадка укусила меня прямо в сердце как бешеная собака. Понял я, что Игорь-то Игорь в записочке, да не тот. Пришлось мне в первый раз в жизни узнать, что такое ревность. Какая это холера зубастая. Стала она меня грызть, отравлять мне детскую кровь.

Долго терпеть я не смог. На большой перемене взял я могучей дланью гаденького Венерова за грудки, отвел в пустующий класс, дверь изнутри закрыл как тогда делали – засунул ножку стула сквозь две ручки. Толкнул Венерова в грудь так, что он полкласса пролетел как голубок и об стену с треском ударился. Подошел к нему, приподнял его над полом, чтобы ножки в узких брючках в воздухе болтались и проговорил грозно: «Игорек, хочешь сейчас же выбью тебе твои заячьи передние зубы? Говори прямо, хочешь или нет?»

Венеров протянул: «Не хочууу».

– Вот тебе мое условие – с Притькой больше не ходи. Не кадрись и не разговаривай. Понял? Больше и предупреждать тебя не буду – вышибу зубы, будешь щербатый как Евграф (беззубый школьный сторож)...

После этого, ткнул я его молодецким кулаком в живот. Не сильно, только чтобы он слова мои запомнил получше. И из класса его выкинул...

С этих пор Венеров больше с Притти под ручку не ходил, домой ее не провожал, и не разговаривал – даже тогда, когда меня рядом не было. Мне классные шпионы доносили. Я таким развитием любовной интриги остался очень доволен и, не торопясь, домогался моей индианки еще два года и она не была ко мне совсем уж неблагоклонна.

Венеров, видимо, пожаловался на меня родителям, но они меня не преследовали,

а сына в другую школу забрали.

И совсем я уже было эту историю забыл, как вдруг, уже сейчас, в путинское смрадное время, разгуливая в интернете, натолкнулся на злобное заявление российского МИДа в отношении Америки. И хотя далеко не все мне во внешней американской политике нравится, поразил меня наглый, подлый и лицемерный тон заявления. Смотрю подпись – главный представитель России где-то там – Игорь Венеров. Я давай его фотографию искать – и нашел. Он это, одноклассник мой бывший! Дополз, гнида, до самого мидовского верха. Та же рожа надменная. Скулы. И зубы те же, заячьи.

Подсказать, что ли, американцам, как с ним разговаривать надо?

...

Не бойся, Амфитеатровым ты не станешь – ты останешься самим собой. Из каждого пробела, из-за каждого слова твоего текста будет на читателя выглядывать маленький автор...

Это прозаическое уменьшение автора ты не должен воспринимать как принижение твоего значения, твоей роли...

Все мы лилипуты божьи. Надо уметь сохранять достоинство, даже если не умеешь писать как Марсель Пруст или Лоренс Стерн...

Я ни с кем не вражду и не соревнуюсь. А ты все летишь, как на тройке, в первачи. Если ты презираешь и ненавидишь публику – лучше не пиши. Текст пишут для публики.

Для себя пишут только мерзавцы. Для Бога – неизлечимые кретины.

...

Берлинская ночь бежит как рысь, я чувствую ее асфальтовое дыхание, мягкий нажим ее упругих лап...

Ночь бежит к трем часам – моему «часу волка». Сколько раз просыпался около трех в поту от одного и того же кошмара. Я бегу по странной потусторонней Москве и ищу свой дом, ищу родных и друзей... и не нахожу никого. Жуткое темное метро тащит меня по каким-то пещерам, норовя упасть в самый черный центр Земли, ставшей огромной Москвой... Я не узнаю домов – темные воды текут по улицам, я лезу вверх по лифтовым шахтам гигантских домов, в их квартирах – запустение...

...

Однажды у нас под ванной, неизвестно откуда, появилась крыса. Это было мучительно. Крыса бегала по квартире и пугала меня до смерти. Я поймал ее ведром. Подсунул под ведро кухонную доску и так отнес крысу на двор, в сосновый лесок. Пока нес, крыса тяжело билась о ведро, прыгала на стены и плакала. Я выпустил ее в кусты, она убежала.

Крысиный специалист сказал мне, что крысы, побывавшие в плену у человека, умирают потом от инфаркта...

...

Большинство слов в предложении должны играть вспомогательные роли, как темные фигуры в театре Кабуки. Они должны подводить читателя к неожиданному слову или смысловому удару. Зернистые слова должны встречаться в тексте редко, как звезды во вселенной. Иначе они станут враждовать друг с другом и бороться за первенство. Чрезмерная экспрессия густопсового текста – не признак таланта, а свидетельство непонимания автором самой природы прозы.

Внутри фразы, как внутри комнаты, должно быть достаточно воздуха. Хорошо написанное предложение – резонатор.

В процессе писания, как и в процессе богослужения должна совершаться жертва. Жертва чудесных метафор, образов. Отбор. Фраза должна звучать и жить. Не быть как комната идиота забитой словесной мебелью.

Твои боевитые фразы-войны часто перевооружены, носят слишком много кинжалов, мечей, арбалетов, тащат тяжеленные пушки... От этого у них начинается одышка.

Надо тебе набраться мужества и выбросить из каждого ожерелья лишние камни, чтобы одна жемчужина засияла в простой благородной оправе.

...

Я хоть и пишу иногда о голубом огне, но сам никогда не держал обнаженного мужчину в объятьях. Никогда не был в мужчину влюблен. Дружил, уважал, жалел... А влюблен не был.

Голубых понимаю. Их чувство из какого-то другого источника любви. От сердечной, душевной близости, от нежной дружбы – близость телесная,

братская, нежность...

Тогда все работает наоборот. Похоти и извраты – святы и прекрасны, безобразие становится красотой, дурные запахи начинают возбуждать и привлекать.

Пространство наполняется радостью. И любовь побеждает все – законы природы, дарвинизм, десять заповедей, эстетику, этику...

Влюбленность – это как бы разрешение богов.

...

Площадь какая-то паршивая. Пешеходная зона вроде. Дома невысокие, три-четыре этажа. На площади – маленький домик стоит. Рядом с другими домами, покрупнее.

Развалюха кирпичная. Краска облупилась. Двери нет, только окно. Подхожу к домику с улицы, знаю – там моя комната, там я живу.

Смотрю в окно с улицы. Комната унылая, железная кровать каким-то хламом завалена, старый стул стоит посередине, у стены – засиженный мухами, трехстворчатый, зеркальный шкаф. Влезаю через окно в комнату. Сажусь на стул. Смотрю на кровать. Мне тяжело, постыло, одиноко.

Замечаю, что на кровати лежит набитая соломой кукла. Мальчик. Это мой «сын».

Тереблю куклу, трясу, прижимаю к себе. Пытаюсь ее оживить – открыть губами ее нарисованные глаза. А потом выбрасываю куклу через окно на площадь.

Смотрю из окна. В затененном углу площади копошатся неприятные маленькие существа.

Среди них мой оживший сын. Он показывает на меня пальцем, скачет, гогочет, кидает в меня камешки...

Я отхожу от окна, подхожу к изъеденному ржавчиной зеркалу.

Смотрю на себя. Вижу изможденного, худого, страшного старика. Кожа как пергамент, глаза красные, полуслепые...

Иду по пляжу. Пляж песчаный, пустой, бесконечный, с раковинками, крабиками, цветными камешками... Только море – не простирается в даль, а стоит вертикально... Тяжелая бурая водяная масса подергивается, грозит обрушиться и раздавить. Высоко-высоко на этой водяной стене вижу белое лицо утопленника...

...

Был я влюблен в одну даму, встречался с ней. Писал ей письма, но не отправлял. Потом жизнь развела нас, мы перестали встречаться, но я любил ее больше и больше. В какой-то момент я вдруг осознал, что уже пять лет ее не видел, а люблю как в первый день. Тогда я написал мой первый рассказ. О печати и не думал. Рассказ сжег. Но через двадцать лет восстановил его по памяти. Этот рассказ называется «Свидание».

...

В Гудауты я приплывал из Пицунды на парходике, сидел там на пляже... С одной милой, часто краснеющей девочкой. На парходике мы пили чешское пиво, а на пляже – Псоу и Гурджаани. Купались вместе, а потом отходили подальше от людей, заворачивались казенным зеленым одеялом и потихоньку совокуплялись... Одеяло кололось...

Я ее встретил через тридцать лет. В один из моих коротких приездов в Москву. Вошел в автобус у клубной части МГУ, кажется в 108-й. Она сидела на первом от кабины шофера сиденье. Я случайно сел рядом с ней и узнал ее. А она меня – или не узнала, или не захотела узнавать. Сказал ей что-то веселое про Пицунду, про пиво, про одеяло. Она покраснела до ушей, посмотрела на меня косо и не без ужаса, решительно встала и вышла у метро. А я дальше поехал. В книжный на Ленинский. В котором я купил еще первокурсником свой первый альбом Пауля Клее, изменивший мою жизнь. Отдал за него половину моей месячной стипендии – двадцать рублей...

Одна моя хорошая знакомая, с которой мы встречались не один год, заявила мне: «После того, как мы с тобой расстались, я забыла все, что нас связывало. НИЧЕГО не помню».

...

Черное небо. Звезды – открытые чернобыльские реакторы.

Расширяющаяся вселенная – жуткая вакуумная пустышка с пылающими атомными маяками.

Космическое излучение обжигает наши мозги. Понятно, почему человек непрерывно бредит.

Нет, я не хочу выбивать у тебя табуретку из-под задницы.

Только хочу напомнить тебе, что там, под табуреткой – не паркетный пол, а дурацкий земляной шар, несущийся сквозь темную вселенную... Неизвестно откуда, неизвестно куда, неизвестно зачем...

...

Базары в Ташкенте хорошие и плов замечательный... И чай неплохой.

Был я там, поехал из любопытства на «съезд механиков». Какой-то докладешко стендовый у меня был. Не помню, про что.

Потом наш директор института на общем собрании объявил: «Среди делегатов нашего института на международном съезде механиков в Ташкенте – только ОДИН не был ни на одном заседании, ни на одном докладе, в том числе и на собственном... Это – младший научный сотрудник такой-то...» И назвал мою фамилию. Я встал и откланялся. Зал заплодировал.

В Ташкенте я бродил по городу. Набрел случайно на книжный. Купил там сразу томов двенадцать Достоевского, по пять томов Лескова и Чехова и еще штук двадцать других книг. В том числе сборник повестей Константина Воробьева «Вот пришел великан». И пошел в метро все это богатство листать и смотреть. Там было прохладно, в мраморном зале. А на улице – 38 градусов в тени. В конце октября 1987 года.

Запомнились изюмные ряды на большом ташкентском базаре. Люблю безумно изюм. А там – один только изюмный рынок величиной с Черемушкинский.

Изюмы всех цветов и сортов. Я брал дыню-красномяску, разрезал ее дольками, ходил вдоль изюмных рядов, пробовал и дыней заедал. Часа по три... А потом в парке на лавочке «Дневники писателя» глотал... Подлая книга, но затягивает...

Затем принимался за «Великана». Сладкое чтение, тот же изюм.

Дело в точке, откуда смотришь на мир... Поднимешь ее слишком высоко – увидишь одни материки, моря, горы. Сам себе будешь казаться горой...

Константин Воробьев смотрел на мир с уровня глаз высокого мужчины.

Его книги портит только одно – невозможность прямо в лицо сказать коммунистам, какие они скоты. Хотя, может быть, именно поэтому он это удивительно художественно доказывает в тексте...

...

Бегаю по Берлину, как старый облезлый волк... Люди смотрят сумасшедшими

овальными глазами... Местная архитектура – апофеоз бездарности.

Свидетельство тупика цивилизации. Геометрия идиотов. Камни тяжелы.

Мостовые обрушиваются на человека как каменный дождь. Мосты давят спинами наши бока...

Берлин – город-диссонанс. Единственное, что его объединяет, это грубость его обитателей.

Почему-то именно тут чувствуешь особенно остро – «черемуха» и «романтика» давно человечеством пройдены. Нет больше влажной пестрой идеалистической кожуры, защищающей нас от безумия реальности.

Нет смысла играть в «мистику», в «таинственные бездны», в «тайные смыслы», в «судьбу», в «высшие силы», нет сил изображать даже вульгарных инопланетян. Все это – страусиные перья на дамских шляпках. Старомодно и смешно. Похерено.

Нет тайн, нет и таинств. Только кошмар реальности. В котором нам, счастливым обладателям телесных болванов почему-то и зачем-то надо жить. Ни «почему», ни «зачем» никого больше не интересуют. Потому что «по-качану», потому что «незачем».

В мире царит неинтересная нагота. Невежество и грубость побеждают все...

Устарел, покрылся пылью и порос грибками не только «боженька» на извечной фреске нашего сознания, прокис и протух и век девятнадцатый со всеми его прелестями... Никому не интересно больше читать так много слов – герои Достоевского несносно много говорят, а Толстой – тошнотворно много и долго описывает... Современной человек не верит в болтовню. Слова – ложь, книги обрыдли.

Мой «рубленный» стиль – это ответ человека интернета на невыносимые длинноты великой русской литературы...

...

Музыка Шопена – это тревога, печаль, любовное томление. Все эти атрибуты «предварительной игры» перед совокуплением не интересуют современных людей, похеривших и предварительную игру... И вместе с ней – подлинное искусство.

Во времена Шопена еще любили и ценили вещи.

Современного человека интересует только одно – покупка и продажа...

Наслаждаться вещами, ценить тонкую благородную работу мы разучились.

Похерены и вещи.

Вещи уничтожил телевизор, главный заменитель и имитатор жизни. Он же сожрал кино, эстраду, театр... Теперь пришел конец и глупому ящику.

Его прикончили интернет, компьютер и мобильный телефон. Жизнь не надо больше заменять. Ее просто больше нет. Все мы провалились в недосуществование, в кошмар реальности.

Вскоре мы потеряем и наши красивые тела и станем уродами. Мы станем, наконец, похожи на самих себя. Ведь тела – формировались не по чертежам ангелов, а в жестокой борьбе за существование, в убийствах, в охоте, в смертном страхе и ужасе. Мы больше не боремся. Мы преем в стрессе. Существования нет. Мы владеем тем, что не заслужили. Мы пропиваем и проедаем сейчас то, что наработали, наголодали, нажаждали наши зверские предки.

Будущее человечества ужасно. Избежать окончательного погружения в безумие реальности можно только одним способом – навсегда уйти в виртуал...

Добровольно отказаться от тел, домов, атомных станций и прочего. Выстроить матрицу.

...

Читал вчера для избранной публики «Смерть Саши» по-немецки. Немцы трепетали и проникались...

После чтения шли мы с Утой домой по ночному центру Берлина, дождь хлестал как из ведра, ветер ураганный по черным улицам дул, мы промокли и продрогли...

Три градуса в Берлине и сыро как в погребе. Люди – как вампиры-фантомы из плохого кино. Готовился к воспалению легких... Спасло Шерри, которого я выдул полстакана перед отходом...

...

Чирей лютует.

Видели его морду с синяком? Пустячок, а приятный.

Если Чирея скинут, поставят какую-нибудь еще более отвратительную гадину.

Как после кепки поставили синюшного мертвеца...

